ДОЛГ ТУМАНУ • КНИГА 2

ИМЯ, КОТОРОЕ СТЁРЛИ



ЕВА НЕЧАЕВА

Ева Нечаева

Имя, которое стёрли

«Автор»
2026

Нечаева Е.

Имя, которое стёрли / Е. Нечаева — «Автор», 2026

Прошёл год. Ника осталась в Сыром Бору, ведёт Счётную книгу вместе с Арсением и впервые за осень ничего не должна туману. Арсений не помнит, как спас её. Он знает об этом по записям и любит её заново, как умеет.В дом напротив въезжает семья из Череповца. Олег Волков в долгах, у его жены болезнь, о которой она молчит. Ника отказывается вписать в книгу его просьбу, и тогда Олег ночью идёт к старой сосне на болоте и подписывает долг сам, без хранителя. Удача приходит. А платит вся семья, и первым шестилетний сын.Чтобы спасти мальчика, Нике придётся найти в старой книге вырванную страницу 1933 года и выяснить, кому должна сама Межа. Ответ окажется ближе, чем она думает.Вторая книга серии «Долг туману».

© Нечаева Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Мелом по крыльцу 5
Глава 2. Чердак 8
Глава 3. Две подписи 11
Глава 4. Успенье 14
Глава 5. Удача 17
Глава 6. Задаром 20
Глава 7. Отдала: Олину свадьбу 23
Конец ознакомительного фрагмента. 26

Ева Нечаева
Имя, которое стёрли

Глава 1. Мелом по крыльцу

Пашкевич подобрал меня на развилке, хотя я не просила.

Чёрный внедорожник стоял у лесопилки с работающим мотором, и, когда я вышла из автобуса с чемоданом и папкой череповецкого молокозавода под мышкой, он опустил стекло и сказал:

— Слышь, Лобанова. Садись. У тебя лицо как у бухгалтера в пятницу.

— Сегодня вторник.

— Тем более.

Я села. В машине пахло новой резиной и пирожками из магазина, магазинными, в целлофане. На приборной панели была приклеена скотчем чёрно-белая фотография: мужчина в кепке с ребёнком на плечах, на фоне стога. Пашкевич повесил её туда весной. Отца он так и не вспомнил, но фотографию повесил.

— Как молокозавод? — спросил он.

— Недостача сливочного масла на сорок тонн. Списали на усушку.

— Сорок тонн не усыхает.

— Я им так и написала.

Пашкевич одобрительно хмыкнул и повёл машину по правой колее. Он по-прежнему ездил медленно, глядя на дорогу так, будто её могли подменить. На четырёхсотом метре объехал кривую берёзу, не глядя на неё. Этому он выучился заново за зиму.

— У тебя новые соседи, — сказал он у первых домов. — Верин дом купили.

— Кто?

— Из Череповца. Семья. Муж, жена, пацан. Мужик сразу в магазин пришёл, со всеми за руку. Галя растаяла. — Он помолчал. — Купили за двести тысяч. С участком.

Я посчитала. Дом Веры стоил втрое больше, даже в Сыром Бору.

— Вера знает, за сколько продала?

— Вера продавала через риелтора в Вологде. Ей было всё равно. — Пашкевич остановил машину у моей калитки. — А мужик торопился. Наличными. Я таких знаю. Сам был таким.

Рубль сидел на столбике калитки и смотрел на машину с выражением человека, которого заставили ждать. За лето он отъелся и стал похож на рыжий диванный валик.

— Спасибо, Эдуард Викторович.

— Не за что. — Он не уезжал. — Лобанова. Скоро Успенье.

— Я знаю.

— Я к тому, что в этом году у тебя ноль. Первый раз. — Он посмотрел на меня поверх руля. — Странно, наверное.

Я не ответила. Он кивнул, будто я ответила, и уехал.

Дом встретил меня запахом пыли и мяты: перед отъездом я повесила над печью пучок, как вешала бабушка, и забыла снять. Я открыла окна, поставила чайник, налила Рублю молока, которое он не стал пить, потому что ждал корма. Потом вышла на крыльцо и посмотрела через улицу.

Дом с зелёными наличниками стоял с распахнутыми окнами. Герани на подоконниках не было. У калитки стояла «Газель» с открытыми дверцами, и двое грузчиков, местных, Колины племянники, таскали в дом коробки. Между коробками, на нижней ступеньке крыльца, сидел мальчик и рисовал мелом.

Я перешла улицу. Не знаю зачем. Может быть, потому что Вера год назад стояла на этом крыльце, в свете из кухни, и махала мне рукой с синим пятном на пальце.

Мальчику было лет шесть. Светлый, стриженный под машинку, в куртке на вырост. Он рисовал на досках крыльца белым мелом что-то широкое, волнистое, через все три ступеньки, и внутри этого волнистого были кружки. Много маленьких кружков, каждый с двумя точками и чертой.

— Это что? — спросила я.

Мальчик поднял голову. Глаза у него были серые и очень внимательные.

— Туман, — сказал он.

— А это?

— Лица.

Я присела на корточки. Кружков было штук тридцать. У некоторых черта рта шла вверх, у некоторых вниз, у одного вообще не было рта.

— Ты видел туман?

— Нет ещё, — сказал мальчик. — Он придёт в субботу.

Я выпрямилась. До Успенья оставалось четыре дня.

— Кто тебе сказал?

— Никто. — Он вернулся к рисованию. — Просто придёт.

— Тима! — Из дома вышла женщина, худая, темноволосая, в спортивных штанах и мужской рубашке с закатанными рукавами. Увидела меня, сразу улыбнулась, устало и вежливо. — Здравствуйте. Он вам не мешает? Он везде рисует. В Череповце рисовал на лифте.

— Не мешает. Я соседка. Ника. Дом напротив.

— Ирина. — Она вытерла руку о рубашку и протянула. Пальцы сухие, жёсткие, в мелу. — Учитель. С первого сентября тут, в вашей школе. А этот художник Тимофей.

— Тимофей Олегович, — сказал мальчик, не отрываясь от крыльца.

— Тимофей Олегович, — согласилась Ирина. — А Олег Николаевич в доме, сражается с котлом. Котёл проиграл ещё до нас.

Из дома донёсся мужской голос, громкий, весёлый:

— Ира, он не проиграл, он взял тайм-аут! Тут человек пришёл, говорит, починит!

И следом, тише, другой голос, ровный и знакомый так, что у меня что-то сдвинулось под рёбрами:

— Я не говорил, что починю. Я сказал, что посмотрю.

Я вошла за Ириной. В кухне, где год назад пахло дрожжами, теперь пахло картоном и растворимым кофе. Клеёнки не было. Холодильник стоял пустой, с открытой дверцей. Белый котёл на стене был снят с креплений и висел на одном болте, а перед ним на корточках сидел Арсений в своей старой кофте с очками на шнурке.

Рядом стоял мужчина лет сорока, крупный, рыжеватый, в дорогой куртке, которая была ему уже велика в плечах, как будто он за последний год похудел килограммов на десять. Он держал фонарик и светил Арсению не туда.

— Ника! — Арсений обернулся и улыбнулся. Сразу, всем лицом. Девять месяцев назад он так не улыбался, а этот, новый, улыбался всегда, когда меня видел. Я до сих пор не привыкла. — Ты же завтра.

— Автобус поменяли.

— Ты бы позвонила.

— У тебя телефон в куртке, а куртка у меня на вешалке. С понедельника.

Он похлопал себя по карманам кофты, потом засмеялся.

— Точно.

Мужчина с фонариком переводил взгляд с меня на него. Потом протянул руку.

— Олег. Волков. Мы ваши соседи, да? Ирина говорила, напротив синий дом. Красивый дом. Мы смотрели в объявлениях, думали, вдруг продаётся. Он не продаётся?

— Не продаётся.

— Жаль! — сказал он искренне. — Но и этот хороший. Вот только котёл. Арсений Павлович говорит, теплообменник.

— Арсений Павлович говорит, что не знает, — сказал Арсений из-под котла. — Может быть, теплообменник. Может быть, плата. Олег Николаевич, левее посветите. Ещё. Вот.

Олег посветил левее. Я стояла в дверях и смотрела на эту кухню, на голые стены, на светлое пятно на обоях, где висел Верин календарь с котятами, и на Ирину, которая открывала коробку с надписью маркером «КУХНЯ ХРУПКОЕ», и на мальчика, который рисовал за окном мелом на крыльце.

Арсений вылез из-под котла, вытер руки тряпкой.

— Плата, — сказал он. — Закажу в Вологде. Дня три. Пока можно топить печь. Печь у вас хорошая, Вера Сергеевна её берегла.

— Мы не умеем, — сказала Ирина.

— Научим, — сказал Арсений и посмотрел на меня. — Ника умеет. Она класть умеет, а не бросать.

Я не помнила, когда рассказывала ему про «класть, а не бросать». Наверное, зимой. Он записал. Потом выучил. Теперь говорил это как своё.

Олег проводил нас до калитки. Тима так и сидел на крыльце, и мы перешагнули через его туман. Олег перешагнул тоже, широко, по-хозяйски, и на секунду задержался на нижней ступеньке.

— Арсений Павлович, — сказал он у калитки, понизив голос. Ирина была в доме, мальчик рисовал. — Можно вопрос? Только не смейтесь.

— Можно.

— Мне в магазине сказали. Женщина, продавщица. Ну, знаете, деревня, рассказывают всякое. — Олег улыбнулся, обаятельно, по-свойски, как улыбаются на переговорах перед тем, как назвать цену. — Говорят, тут туману можно задолжать. Это шутка такая местная или что?

Арсений посмотрел на него. Потом на меня. Потом на мальчика с мелом.

— Это не шутка, — сказал он.

Олег засмеялся, коротко, и перестал.

— А как? — спросил он. — В смысле, у кого спросить?

— Ни у кого, — сказала я. — Не надо.

— Я просто интересуюсь, — сказал Олег. И руки у него, засунутые в карманы дорогой куртки, сжались в кулаки, так что ткань натянулась на костяшках.

Глава 2. Чердак

Лестница на чердак бывшего сельсовета была приставная, деревянная, и третья перекладина отсутствовала.

— Я её снял в декабре, — сказал Арсений снизу. — Чтобы Пашкевич не лазил. Он хотел посмотреть тома.

— Зачем?

— Не сказал. Сказал, «для себя». Я записал «не пускать».

Я посмотрела на дыру между второй и четвёртой перекладиной и полезла. Чердак мы откладывали девять месяцев: сначала был снег по пояс и минус тридцать, потом было не до того, потом весна, и Глухов слёг, и Арсений полгода ночевал у него через раз. Потом было лето, первое моё лето в Сыром Бору с семи лет, и тумана не было, и чердак как-то сам собой отодвинулся. Мы оба знали, что отодвинулся не сам.

Внизу, в ФАПе, новый фельдшер, Светлана Игоревна из Кадуя, принимала по вторникам и четвергам. Сегодня была среда. В пустом коридоре пахло хлоркой, как при Вере, и это было единственное, что осталось от Веры.

Чердак был низкий, под двускатной крышей, и в нём стояла жара, запертая с июля. Пыль висела в полосах света из слухового окна. Вдоль стены лежали подшивки «Сельской жизни», связанные бечёвкой, какие-то знамёна в чехлах, сломанный бюст неизвестно кого и, в углу, деревянный ящик с крышкой, обитый жестью по углам.

— Он, — сказал Арсений, поднимаясь следом. Он пролез через дыру в лестнице, не глядя, привычно. — Глухов говорил, ящик с жестью.

Ящик не был заперт. Внутри, переложенные газетами за 1998 год, лежали пять амбарных книг. Такие же, как наша, только старше. Коричневый переплёт у первой облез до картона, и на корешке выцветшими чернилами было выведено: «Том 1. 1928».

Я не стала её трогать сразу. Сначала сфотографировала ящик, как он есть. Потом каждую книгу сверху. Потом корешки. Арсений сидел на корточках рядом и ждал. Он больше не спрашивал, зачем я фотографирую. Зимой спросил один раз, я объяснила, что так делают при выемке документов, он записал и больше не спрашивал.

— Можно? — сказал он, когда я закончила.

— Можно.

Он взял первый том двумя руками и положил себе на колени. Открыл. Бумага была толстая, желтоватая, линованная от руки. Почерк на первой странице был мелкий, с наклоном, с ятями, которые кто-то всё ещё писал по привычке в двадцать восьмом году.

«Книга счётная села Сырой Бор. Начата Глуховой П. И. 1 мая 1928 года. Вести честно».

— Прасковья Ильинична, — сказал Арсений. — Бабушка Тимофея Ильича. Первая.

— Почему первая? Книг до этого не было?

— Была одна. Сгорела в двадцать седьмом, вместе с церковью. Тимофей Ильич говорит, тогда туман взыскал со всех сразу. Правило десять. — Он помолчал. — Половина села ушла. А кто остался, начали заново. Она начала.

Я смотрела на эти четыре слова: «Вести честно». Строчкой ниже кто-то поставил кляксу и не стал её стирать.

Мы листали два часа. Арсений читал вслух, медленно, разбирая старые буквы. Я записывала в тетрадь. Не всё: только то, что выбивалось.

Выбивалось многое. Двадцать восьмой и двадцать девятый год были обычными: «Межа, урожай», «Межа, здоровье коровы», «Межа, сын с войны». Мелкие суммы, по две, по пять мер. Тридцатый год стал другим. Строки пошли гуще. «Межа, хлеб до весны». «Межа, хлеб до

весны». «Межа, хлеб до весны». Одна и та же строка, десятки раз, разными руками. Многие подписи были крестиками.

— Голод, — сказала я.

— Да. — Арсений провёл пальцем по крестикам, не касаясь бумаги. — Тридцать второй, тридцать третий. Тимофей Ильич родился в сорок втором, он не застал. Мать рассказывала.

В тридцать третьем году строки обрывались.

Не кончались, а обрывались: на середине страницы, в апреле, стояла последняя запись чужой рукой, «Межа, хлеб до весны», с крестиком. А под ней, через пустую строку, другим почерком, тем же мелким с наклоном, что на первой странице:

«Все долги села беру на себя. Глухова П. И.»

И подпись. Ровная, твёрдая, без завитков.

Ниже было пусто до конца страницы. Следующая страница была вырвана. Неровно, у самого корешка, торчали жёлтые клочки, и на одном из них было видно начало слова: «Не пр…»

А на странице за ней, отдельно, посередине, стояла строка, на которую я сначала не обратила внимания, потому что она была бледная. Почти не видна. Серая.

«Межа за Глухову П. И. Срок: 7 мес. Предмет: —. Мера: —. Кредитор:»

И после «кредитор» пятно. Серое, рыхлое, неровное по краю.

Я перестала дышать. Не в каком-то красивом смысле: просто забыла вдохнуть, пока смотрела, и потом вдохнула слишком резко, и закашлялась от пыли.

— Ника.

— Та же, — сказала я, откашлявшись. — Это та же строка. Как в декабре.

— Я вижу.

Мы смотрели на неё вдвоём. Межа за Лобанову Т. М. Срок: 23 года. Межа за Глухову П. И. Срок: 7 мес. Одна и та же форма, одна и та же серость, одно и то же пятно на месте имени.

Я протянула руку и коснулась строки. Арсений дёрнулся, хотел остановить, не успел.

Чернила были холодные. На чердаке стояла жара, тридцать градусов, может, больше, книга лежала у Арсения на коленях, нагретая, а строка была холодная, как оконное стекло в ноябре. Под пальцем она не размазалась. Она была не на бумаге, а над ней, тонким налётом, как иней.

Я убрала руку. На подушечке пальца ничего не осталось.

— Не трогай больше, — сказал Арсений. Тихо, но так, что я убрала руку за спину.

— Ты знал, что тут такая есть?

— Нет. — Он закрыл книгу. — Я не знал. Тимофей Ильич не говорил. Или говорил, а я забыл. — Он посмотрел на меня. — Я много чего забыл.

Я знала, что он говорит не про Глухова.

Мы сидели на полу чердака среди связанных подшивок. Внизу кто-то хлопнул дверью: Оксанка из администрации пришла с обеда. Пыль медленно оседала в полосе света.

— Семь месяцев, — сказала я. — С апреля тридцать третьего. Она взяла всё на себя. И через семь месяцев ушла?

— Ушла в туман. В тридцать третьем. Тимофей Ильич говорил, это семейная история. — Арсений подумал. — Он говорил «бабку туман забрал». Я думал, это фигура речи.

— И Межа после этого осталась ей должна.

— Похоже на то.

— Почему?

Он не ответил. Я и не ждала. Я смотрела на клочки вырванной страницы у корешка. «Не пр…» Не простила. Не предъявлять. Не проси. Не пробуй.

— Надо к нему, — сказала я.

— Сегодня он плохой. С утра не узнавал Шуру. — Арсений положил первый том обратно в ящик, поверх других, и закрыл крышку. — В субботу. По субботам он лучше, не знаю почему.

Мы спустились. Я первая, через дыру в лестнице, и на последней перекладине нога соскользнула, и Арсений сверху сказал «держу», хотя держать ему было нечем, обе руки у него были заняты ящиком. Я не упала.

На улице было обычное августовское утро, без всякого тумана. У колонки стояла Кира с двумя вёдрами и смотрела в телефон, и, когда мы прошли мимо с ящиком, она подняла голову и сказала:

— Вы его что, украли?

— Изъяли, — сказала я.

— Это одно и то же, — сказала Кира и вернулась к телефону.

Арсений засмеялся. Он нёс ящик, прижимая к груди, и смеялся, и я подумала, что прошлой осенью он бы не засмеялся. Прошлой осенью он бы молча кивнул и пошёл дальше, держа ящик на вытянутых руках, как держат что-то, что может взорваться.

Тот Арсений носил бы его иначе. Этот нёс как дрова.

Я не знала, что из этого лучше. Я уже девять месяцев не знала.

У его калитки он поставил ящик на землю и сказал:

— Ника. Если это та же строка, значит, Таисия Марковна тоже…

— Не сейчас.

— Хорошо. — Он не стал спорить. Новый Арсений вообще редко спорил: он спрашивал, слышал ответ и соглашался или не соглашался, но не спорил. — В субботу.

— В субботу.

Я пошла домой через улицу и увидела, что на крыльце Волковых за ночь прибавилось лиц. Мальчик дорисовал их ещё штук двадцать, мелом, внутри волнистого тумана, и теперь лица были и на перилах, и на столбике калитки, и на почтовом ящике.

У почтового ящика стоял Олег и курил, глядя на дорогу к Меже.

Глава 3. Две подписи

Олег пришёл в четверг в восемь утра, с тортом.

Торт был магазинный, «Птичье молоко», из той партии, которую Галя держала в холодильнике с июля на случай поминок. Олег держал его перед собой на вытянутых руках, улыбался и говорил, что пришёл знакомиться по-соседски, раз вчера не получилось. Я стояла на крыльце в бабушкиной кофте, с ноутбуком под мышкой. В девять у меня был созвон с Череповцом.

— Двадцать минут, — сказала я.

— Мне хватит десяти.

Он сел на кухне на табурет, где обычно сидел Арсений, и Рубль, который лежал на втором табурете, поднял голову, посмотрел на него и ушёл в комнату. Олег этого не заметил. Он оглядывал кухню: печь, буфет с треснувшим стеклом, бабушкины счёты на гвозде, косяк с отметками роста.

— Хорошо у вас, — сказал он. — По-настоящему. У нас в Череповце была квартира в новостройке, сто двадцать метров, а так хорошо не было.

— Была?

— Банк забрал. — Он сказал это легко, как говорят про погоду. — Ника, можно я сразу? Мы же взрослые люди.

— Давайте.

Он рассказал. Хорошо рассказал, связно, с цифрами, как человек, который много раз рассказывал это юристам. Автосервис в Череповце, восемь лет, четыре подъёмника. Партнёр, школьный друг, который вёл бухгалтерию. Кредиты, оформленные на фирму под личное поручительство Олега, о которых Олег узнал, когда друг перестал брать трубку. Шесть миллионов. Суды. Коллекторы, которые сначала звонили, потом приходили, потом написали маркером на двери квартиры слово, которое Тима прочитал вслух, потому что как раз научился читать.

— Он с тех пор рисует, — сказал Олег. — Психолог сказала, это хорошо. Пусть рисует.

— Мне жаль.

— Не надо жалеть. Я справлюсь. — Он наклонился ко мне через стол. — Ника. Мне в магазине рассказали. И Пашкевич рассказал, когда я к нему ходил. И я нашёл в интернете, тут блог есть, какой-то мужик из Кадуя пишет про местные легенды. Что здесь можно взять у тумана в долг. Не деньгами. Удачей. Здоровьем. А платить памятью.

Я молчала.

— Я не дурак, — сказал Олег. — Я понимаю, как это звучит. Но вы же сами… Мне Галя сказала, вы прошлой осенью тут чуть не… Ну, я не знаю подробностей. Но вы здесь. Вы остались. Вы, аудитор из Питера, остались жить в деревне на болоте. Значит, что-то есть.

— Что-то есть, — сказала я.

Он выпрямился. Лицо у него стало другим: внимательным, жёстким, деловым.

— Мне нужна удача, — сказал он. — Немного. Чтобы суды пошли нормально. Чтобы этого урода нашли. Чтобы банк пошёл на реструктуризацию. Я готов платить. Памятью, чем угодно. У меня много лишней памяти, честное слово. Я помню все матчи «Северстали» с девяносто восьмого года. Пусть берёт.

Я посмотрела на часы. Восемь двадцать.

— Олег Николаевич. Это не сделка с банком. Тут не вы решаете, что отдать.

— А кто?

— Межа. Она берёт то, что вам дорого. Не то, что лишнее. Матчи «Северстали» ей не нужны.

Он помолчал.

— Хорошо. Пусть берёт дорогое. Я согласен.

— А ваша жена согласна?

— При чём тут жена?

— При том, что, если вы берёте удачу для семьи, платить может не только тот, кто подписал.

Он смотрел на меня. Я видела, как он считает. Быстро, как привык.

— Тогда я возьму на себя, — сказал он. — Только на себя.

— Тогда удача будет только ваша. А вам нужно, чтобы отстали от Ирины и от сына.

Он не ответил. Взял со стола нож, который я положила к торту, повертел, положил обратно.

— Как это оформить? — спросил он.

— Никак, — сказала я. — Строку в книгу вносит хранитель. С прошлой зимы у нас новый порядок: любую новую строку подписывают двое. Арсений Павлович и я. Без двух подписей строка не вносится.

— И вы не подпишете.

— Нет.

— Почему? Это моё решение. Я взрослый человек.

— Потому что я видела, как это заканчивается. — Голос у меня вышел ровный, рабочий, такой, каким я разговаривала с главбухом молокозавода. — У меня бабушка двадцать три года платила. Под конец не помнила, как меня зовут. Соседка ваша, которая жила в вашем доме, платила за сына и переписывала долг на чужих людей. Я не подпишу.

Олег откинулся на табурете. Посмотрел на косяк с отметками роста, на последнюю черту, «2003», и на пустое место над ней.

— Понятно, — сказал он. И сразу улыбнулся снова, обаятельно, легко, будто ничего не было. — Ну что ж. Спасибо, что объяснили. Честно, спасибо. Торт вам оставлю, Ирина всё равно на диете.

Он встал. У двери обернулся.

— А Арсений Павлович тоже не подпишет? Если я к нему отдельно?

— Без меня он не может. Две подписи.

— Это вы так решили?

— Мы так решили.

— Ясно, — сказал Олег. — Демократия.

И ушёл. Через окно я видела, как он переходит улицу, перешагивает через нарисованный туман на своём крыльце и останавливается у почтового ящика, на котором его сын нарисовал пять лиц мелом. Он стоял и смотрел на них. Потом стёр одно ладонью, сам, кажется, не заметив, что делает.

Созвон с Череповцом прошёл плохо: главбух молокозавода спорила про сорок тонн масла, а я думала про мужика из Кадуя, который пишет блог про местные легенды.

Блог я нашла за пять минут. «Северные были», шестьсот подписчиков, последняя запись в июне. Мужик собирал истории про домовых, леших, болотных огней, и среди них была одна про Сырой Бор. Неточная, с ошибками, с фотографией Кассирши, сделанной издалека, с дороги. «По словам старожилов, в прежние времена отчаявшиеся люди шли ночью к одинокой сосне на острове и подписывали у её корня договор с болотом. Говорят, так можно и сейчас».

Комментариев было три. Последний, от пользователя «ov_cherepovets», трёхнедельной давности: «А подробнее? Куда именно идти?»

Ответа не было.

В обед мне позвонил Пашкевич. Он никогда не звонил днём: днём он стоял за прилавком вместо Гали, которая уходила кормить мужа.

— Слышь, Лобанова, — сказал он без приветствия. — Тебе Волков приходил?

— Утром.

— Ко мне тоже. Неделю назад. Ещё до тебя. — Он помолчал. В трубке было слышно, как пищит касса. — Спрашивал отцовские бумаги.

— Какие бумаги?

— У меня в подсобке коробка стоит. От отца. Я её весной нашёл, когда дом продавал. Тетради, письма. Я не читал. — Пауза. — Мне незачем. Я его не помню. Чужой мужик.

— Откуда Волков знает про коробку?

— А я знаю? Может, Галя сказала. Может, я сам по пьяни. — Он кашлянул. — Я ему не дал. Сказал, нету. Но и не сжёг. Думал сжечь, рука не поднялась. Отец всё-таки.

— Эдуард Викторович. Что в коробке?

— Я же говорю, не читал. Но отец, Лучинин мне говорил, по старым делам знал больше, чем Глухов. Отец у меня Межу знал. Он с ней по-старому договаривался. Без книги.

Я встала с табурета.

— Где коробка сейчас?

— Так я тебе поэтому и звоню, — сказал Пашкевич. — Я сейчас в подсобку полез за сахаром. Коробки нет.

Глава 4. Успенье

Туман пришёл в субботу в девять вечера, как и говорил мальчик.

Я сидела на кухне с ноутбуком и сводила акты по молокозаводу, и в какой-то момент поняла, что за окном больше не видно Волковского дома. Не стемнело: в августе в девять ещё светло. Просто его не стало. Белое стояло у самого стекла, ровное, плотное, и в нём, далеко, едва-едва светился жёлтый квадрат чужого окна.

Я закрыла ноутбук.

Год назад в это время я бы проверила окна, зажгла свечи, открыла «Список до» и сидела бы до утра с ручкой, ожидая, что отдам. Сейчас мне было нечего отдавать. В книге против моей фамилии стоял ноль, жирный, обведённый карандашом Арсения в декабре.

Странно было не бояться. Тело не верило. Тело встало, проверило шпингалет на окне в маленькой комнате, которую я так и не починила, и подставило стул к раме. Я смотрела, как мои руки ставят стул, и не мешала им.

Рубль лёг на подоконник и смотрел в туман. Я налила себе чаю, положила три ложки сахара. Это я делала теперь всегда, без свидетелей. Арсению я так и не призналась, хотя он знал: у него было записано.

В половине одиннадцатого позвонил он сам.

— Ты как?

— Странно, — сказала я. — Хорошо. Странно.

— У меня тоже странно. — Я слышала, как у него на кухне тикают часы. Он купил их весной на рынке в Кадуе, сломанные, за сто рублей, и починил. Теперь у него в доме было семь часов, и все шли по-разному. — Первый туман, а я ни за кого не плачу. Сижу с книгой как дурак.

— Ты и есть хранитель. Сиди.

— Сижу, — согласился он. — Ника. Ты окна закрыла?

— Мне не надо.

— Закрой всё равно.

Я закрыла. Не потому что он попросил, а потому что тело уже закрыло их до звонка.

Мы поговорили ещё минут десять, ни о чём. О плате для Волковского котла, которую в Вологде обещали к среде. О Глухове, который сегодня весь день звал мать. О том, что Кира подала документы в лицей в Череповце и не сказала Лиде. Потом он сказал «ладно, спи», и я сказала «ты тоже», хотя знала, что он не будет спать: хранитель в туманную ночь не спит.

Я выключила свет и пошла в комнату. И у окна в маленькой комнате, том, без шпингалета, остановилась.

Сквозь туман, вдалеке, двигался огонёк.

Маленький, жёлтый, качающийся. Фонарь. Он шёл по Нижней улице от Волковского дома в сторону Межи. Медленно, неровно, иногда пропадая, когда туман густел, и снова появляясь дальше.

Я смотрела, пока он не дошёл до последнего забора. Там, где улица кончалась и начиналась тропа к трём столбам и мосткам.

Он не остановился. Пошёл дальше.

Я набрала Арсения.

— Кто-то идёт к Меже. С фонарём. От Волковых.

Пауза.

— Ты видишь его сейчас?

— Вижу. Уже за забором. На тропе.

— Ника. Не ходи.

— Я не должник. Мне туман ничего не сделает.

— За проход сквозь чужое возьмёт. Правило шесть. Тебе есть что отдать, у тебя память полная. — Голос у него стал жёстче. — И я не смогу выйти. Если ты там провалишься в чужое, я буду сидеть тут с книгой и слушать по телефону.

Я стояла у окна с телефоном у уха. Огонёк качался на тропе.

— Я дойду до забора. До последнего. Дальше не пойду.

— Ника.

— До забора, Арсений.

Он помолчал.

— Не клади трубку.

Я надела куртку на футболку, сапоги на босу ногу. Рубль спрыгнул с подоконника и сел у двери, загораживая. Я переступила через него.

Туман на улице был тёплый. Это меня удивило: прошлой осенью он всегда был холодным, мокрым, пахнущим золой. Сейчас он был тёплый, как пар от реки летом, и пах сеном. Я шла по Нижней, держась левой рукой за заборы, правой прижимая к уху телефон, и считала заборы. Шесть до конца улицы.

— Где ты? — спросил Арсений.

— Третий. Лидин.

— Говори.

— Четвёртый. Шилова дом. Пустой.

На пятом заборе огонёк впереди остановился. Я тоже остановилась. Теперь он был ближе, метров сто, и я различила: фонарь светил низко, у земли, на мостки. Старые шпалы, которые прошлой осенью вели от трёх столбов к острову. Человек с фонарём стоял на первой шпале.

Потом пошёл.

— Он на мостках, — сказала я.

— Кто?

— Не вижу. Мужчина. Высокий. — Я видела только силуэт, тёмный, расплывчатый, но походку я знала. Широкий шаг, плечи вперёд. Так Олег перешагивал через нарисованный туман на своём крыльце. — Олег. Волков.

Арсений ничего не сказал. Я слышала, как у него тикают все семь часов.

— Крикнуть?

— Не надо. Если он обернётся на мостках, может упасть. Там яма у третьего столба.

Я знала про яму.

Огонёк уходил по мосткам, всё дальше, всё ниже, и туман смыкался за ним. Через минуту я не видела ни фонаря, ни силуэта. Только белое, и в белом, на краю, тонкую верхушку наклонённой сосны, которая проступала и пропадала.

Я стояла у пятого забора. Шестой был в трёх шагах. За ним начиналась тропа.

— Ника, — сказал Арсений в трубке. — Ты у забора?

— У пятого.

— Пожалуйста. Иди домой.

Я пошла домой.

Олег вернулся в половине третьего. Я не спала, стояла у окна в маленькой комнате, и видела, как огонёк вынырнул из тумана у шестого забора и пошёл обратно по Нижней. Медленно. Иногда останавливался. Один раз фонарь упал, полежал на земле, светя вбок, и его подняли.

У Волковской калитки огонёк погас.

Утром туман ушёл, как уходит всегда, сразу, будто его вытерли. Я встала в шесть, не выспавшись, и пошла к Арсению, не завтракая.

Он открыл дверь раньше, чем я постучала. Выглядел так, как выглядит хранитель после туманной ночи: серое лицо, красные глаза, кофта навыворот. Книга лежала на кухонном столе раскрытая.

— Смотри, — сказал он вместо «доброе утро».

Я посмотрела.

Последняя страница с записями. Вчерашние строки, его карандашом: платежи Митрича, Нины Аксёновой, Шиловой дочери, которая так и не приехала, и за неё платил кто-то из наследников в Череповце. Мелко, ровно, по одной мере. И под ними, через пустую строку, серая запись. Бледная, холодная, словно иней на стекле.

«28.08.2027. Волков О. Н. Межа. Предмет: удача. За семью. Мера: —».

Ни подписи хранителя. Ни моей подписи. Только одна, внизу, размашистая, с длинной петлёй: «Волков».

— Я её не вносил, — сказал Арсений. — Я сидел всю ночь. Смотрел в книгу. В час пятьдесят она просто появилась. Сама. Я видел, как проступает. Как будто кто-то дышит на стекло изнутри.

Я наклонилась. Коснуться не решилась.

— Две подписи, — сказала я. — Мы же договорились. Две подписи.

— Мы договорились, — сказал Арсений. — А она нет.

Он сел на табурет, тяжело, и потёр глаза кулаками.

— Мера не указана, — сказала я. — Почему не указана?

— Не знаю. — Он не отнимал рук от лица. — Ника, я восемь… девять лет хранитель. Я не знаю. Глухов, может быть, знает. Если вспомнит.

Я выпрямилась и посмотрела в окно. Через два забора, через улицу, виден был Волковский дом. На крыльце, на ступеньках, на перилах, на почтовом ящике было пусто. Туман за ночь смыл мел.

Все лица, кроме одного. На столбике калитки, где рисовал мальчик, осталось одно лицо, маленький кружок с двумя точками и без рта.

Глава 5. Удача

Олегу повезло в понедельник.

Я узнала об этом от Гали, которая узнала от Ирины, которая пришла в магазин за шампанским, которого в «Продуктах» не было с две тысячи девятнадцатого года. Ирина взяла сладкое вино, то самое, похожее на сироп, и сказала Гале, что коллекторское агентство отозвало иск. Просто отозвало. Без объяснений. Юрист Олега в Череповце сам удивился.

Во вторник Олегу позвонили из полиции Казани. Бывшего партнёра, того самого школьного друга, задержали на трассе за превышение скорости, пробили по базе, нашли в розыске. Олег ходил по Нижней улице с телефоном у уха и громко, на весь посёлок, говорил кому-то: «Да. Да! Я же говорил!»

В среду банк согласился на реструктуризацию. Олег пришёл в магазин сам, купил Гале коробку конфет, Пашкевичу бутылку коньяка, которую тот не взял, а Коле, Галиному мужу, отдал старый спиннинг из машины. Просто так.

Митрич у колонки сказал мне:

— Везёт мужику.

— Везёт, — сказала я.

— Так не везёт, — сказал Митрич и плюнул в траву. — Так только должникам везёт.

В среду вечером Пашкевич принёс коробку.

Он поставил её у меня на крыльце, не заходя, и сказал, что нашёл её утром у себя на заднем дворе, у бочки, под дождевиком, чтобы не намокла. Обычная картонная коробка из-под обуви, перевязанная бечёвкой. Бечёвка была завязана заново, не тем узлом.

— Я узлы отцовские не помню, — сказал Пашкевич. — Но этот не мой. Я так бантиком не вяжу.

— Вы читали?

— Сказал же. Мне незачем. — Он подвинул коробку ко мне ногой. — Тебе есть зачем. Забирай.

Внутри были тетради, письма, квитанции, пачка фотографий, сломанные часы на ремешке. Тетради отца Пашкевича были похожи на тетрадь самого Пашкевича: чёрный клеёнчатый переплёт, графы по линейке. Записи с пятьдесят восьмого года по девяносто первый. Кто, сколько, когда. Многое я не понимала: сокращения, какие-то значки, стрелки.

В третьей тетради не хватало страниц. Вырваны были недавно: края бумаги белые, не пожелтевшие. Шесть листов. Но на седьмом, следующем, сохранился продавленный след. Ручка давила сильно, и на нижнем листе отпечаталось то, что было на верхнем.

Я взяла простой карандаш и затушевала страницу, как в детстве, когда переводила монету через бумагу.

Буквы проступили неровно, с пропусками, но читались.

«…у корня. Хранитель не нужен. Межа пишет сама, серым. Меры не ставит: берёт сколько хочет. Если за семью, берёт со всех, кто в доме, по старшинству или как ей…»

Дальше было не разобрать.

Я сидела над затушёванной страницей до темноты.

В четверг утром я встретила Тиму.

Он сидел на крыльце, без мела, и плакал. Не громко: сидел и тёр глаза кулаками, и плечи дёргались. Ирина была в школе: готовила класс к первому сентября. Олег был в Череповце у юриста.

Я перешла улицу и села рядом на ступеньку. Он не отодвинулся.

— Что случилось?

— Я забыл, — сказал Тима.

— Что?

— Как зовут кота. — Он отнял кулаки от лица. Глаза были красные, сухие уже. — У нас в Череповце был кот. Его соседка взяла, когда мы уехали. Я его каждый день вспоминаю, перед сном. А сегодня проснулся и не помню, как зовут. Помню, что серый. Что хвост сломанный. А как зовут, нету.

Я сидела рядом с ним на ступеньке. На столбике калитки было нарисовано одно лицо без рта.

— Мама знает, как его звали?

— Мама на работе. — Тима шмыгнул носом. — А если она тоже забыла?

— Не забыла. Спросишь вечером.

— А если забыла?

Я не ответила. Он посмотрел на меня серьёзно, по-взрослому, и я вдруг поняла, что он знает: дети всегда знают, когда взрослый не отвечает.

— Его звали Пломбир, — сказал Тима. — Наверное. Я так думаю. Или Пряник. Я на него говорил «Пломбир». Наверное.

— Давай запишем, — сказала я. — Чтобы вечером проверить.

Я достала из кармана блокнот, вырвала листок и написала: «Пломбир? Пряник? Спросить маму». Тима взял листок, сложил вчетверо и сунул в карман куртки.

Олег вернулся в четыре. Я ждала его у калитки.

Он вышел из машины с пакетами из «Ленты», весёлый, загорелый за неделю, совсем не похожий на человека, который в прошлый четверг сидел у меня на табурете и рассказывал про слово на двери. Увидел меня, улыбнулся.

— Ника! А я как раз хотел зайти. Мне коробку конфет взять для вас или вы не едите сладкое?

— Олег Николаевич. Вы были на Меже в ночь на воскресенье.

Он поставил пакеты на землю. Не сразу. Сначала посмотрел на дом, на окна, на крыльцо. Ирины не было, Тима был у Киры: Кира учила его играть в шашки.

— Был, — сказал он. Просто, без улыбки.

— Вы взяли бумаги у Пашкевича.

— Взял. Вернул. Он бы всё равно не прочитал.

— Вы подписали у корня.

— Подписал. — Он смотрел на меня прямо. — И, как видите, работает. Иск отозвали. Сашку взяли. Банк пошёл навстречу. За четыре дня. Я полгода бился об стену, а тут четыре дня.

— Тима сегодня забыл, как звали вашего кота.

Олег замолчал.

— Какого кота?

— Из Череповца. Которого соседка взяла.

— Пломбира, — сказал Олег. Потом нахмурился. — Или… Нет, Пломбир. Пломбир был. — Он потёр лоб. — Ну, ребёнок. Забыл. Дети всё забывают.

— Межа берёт со всех, кто в доме. Вы подписали за семью.

Он долго не отвечал. Потом поднял пакеты.

— Я знаю, — сказал он. — Я читал. В отцовских тетрадях у Пашкевича. Я знаю, как это работает. И я знаю, как это закрыть.

— Как?

— Если станет тяжело, я уйду. — Он сказал это спокойно, как говорил про банк и про суды. — В туман. Целиком. Там написано: кто уходит целиком, тот закрывает свой долг. Межа берёт всё и считает, что в расчёте. Я не дурак, Ника. У меня страховка на семь миллионов, Ира её получит. Долги закрыты. Тима вырастет. Это нормальный план.

Я стояла у калитки. И знала то, чего не знал он.

Долг «за семью» его уходом не закрывается. Правило семь, третья часть: долг, взятый за другого, переходит к тому, за кого брали. Если Олег уйдёт в туман, Межа возьмёт у него всё, а остаток долга ляжет на Ирину. На шестилетнего мальчика, который сегодня плакал на крыльце из-за кота.

Я открыла рот, чтобы это сказать. И не сказала.

Не знаю, почему. Нет, знаю. Я видела его лицо: загорелое, весёлое, отчаянное. Человек, который четыре дня назад вышел из ямы, где сидел полгода. Если я скажу ему сейчас, что выхода, который он себе приготовил, нет, что он сделает? Пойдёт на мостки ещё раз? Подпишет что-нибудь хуже? Я не знала, что бывает хуже, но в Сыром Бору хуже бывало всегда.

Я подумала: сначала Глухов. Сначала узнать точно, как работает серая строка, без хранителя, без меры. Может быть, у корня действуют другие правила. В субботу. Два дня.

— Олег Николаевич, — сказала я. — Не ходите туда больше. Пожалуйста.

— Не пойду, — сказал он легко. — Мне больше не надо. Мне хватило.

Он пошёл к дому с пакетами. На крыльце обернулся.

— Ника! — крикнул он. — Спасибо, что не сказали Ире.

Я стояла у калитки. Из-за угла, от Лидиного дома, бежал Тима, а за ним, не спеша, шла Кира с доской для шашек под мышкой. Тима добежал до отца, повис на нём, и Олег поднял его вместе с пакетами, и мальчик что-то закричал ему в ухо, счастливо, захлёбываясь.

Я разобрала только одно слово. «Пломбир».

Глава 6. Задаром

По субботам Глухов был лучше. Никто не знал почему. Тётя Шура говорила, что по субботам в старое время топили баню, и тело помнит. Арсений говорил, что по пятницам Светлана Игоревна ставит ему капельницу. Глухов говорил, что по субботам ему просто надоедает помирать.

Он сидел в кровати, обложенный подушками, в той же майке, что и год назад, только майка стала велика. Похудел он страшно: руки, огромные, узловатые, лежали поверх одеяла отдельно от него, как инструменты, которые забыли убрать. Но глаза были ясные. Он увидел меня и сказал:

— А. Счетоводша. Опять с бумажками.

— С книжкой, Тимофей Ильич.

— Ещё хуже.

Арсений положил ему на колени первый том, открытый на тридцать третьем годе. Глухов надел очки, снял, сказал «не эти», Арсений дал другие. Старик смотрел на страницу, не трогая. Минуту, две.

— Бабкина рука, — сказал он наконец. — «Все долги села беру на себя». Я эту строку с детства знаю. Мать показывала. Говорила, гордись.

— А серую? — спросила я.

Он перевёл палец на страницу дальше. На серую строку, бледную, холодную. Палец остановился над ней в сантиметре и не опустился.

— Эту не показывала, — сказал он. — Эту я сам нашёл. Мне пятнадцать было. Полез в ящик, когда мать в Кадуй уехала. Нашёл, потрогал. Холодная. — Он убрал руку. — Мать вернулась, увидела, что я книгу трогал, побила полотенцем. Первый и последний раз.

— Что это за строка, Тимофей Ильич?

Старик откинулся на подушки и закрыл глаза. Я решила, что он устал, и посмотрела на Арсения, а Арсений покачал головой: подожди.

— Голод был, — сказал Глухов, не открывая глаз. — Тридцать второй, тридцать третий. Хлеб забрали весь. Семенной тоже. Люди ходили к Меже: «хлеб до весны». Межа давала. Не хлеб. Не знаю, что давала. Кто-то находил мешок картошки в лесу, у кого-то корова не сдохла. Давала. А брала по десять мер, по двадцать. Люди с весны до осени платили и падали. Дети забывали матерей. Старики забывали, как ходить. — Он помолчал. — Бабка была хранитель. Видела каждую строку. В апреле она взяла книгу и написала: «Все долги села беру на себя».

— Взяла на себя, то есть перевела на себя?

— Нет. — Глухов открыл глаза и посмотрел на меня с раздражением. — Ты счетоводша, должна понимать. Перевести, это когда долг становится твой. А она не переводила. Она платила за других. Как Сенька за тебя платил, помнишь?

Я помнила. Арсений рядом со мной не помнил, но кивнул, потому что это было у него записано.

— Платила за всех, — сказал Глухов. — Каждую ночь. С апреля по ноябрь. По сорок мер, по пятьдесят за ночь. Мать говорила, к осени бабка не знала, какой год. Не знала, что сын у неё на гражданской убит. Не знала, что у неё дочь. Мать моя. Как звать, не знала.

В комнате тикали часы. Одни, на стене, старые, с гирями. Арсений починил их весной, и они шли правильно, в отличие от всех его семи.

— А в ноябре, — сказал Глухов, — в первый снег, бабка пошла на Межу. Сама. Ночью. Мать её держала, кричала. Бабка сказала: «Если я уйду целиком, Межа возьмёт всё, и все в расчёте. Я сосчитала». И ушла.

— Но долги не закрылись, — сказала я.

Глухов посмотрел на меня.

— Не закрылись, — сказал он. — Откуда знаешь?

— Правило семь. Свой долг, если уходишь в туман целиком, закрывается. Но она платила не свой. За других. Чужой долг её уходом не закрывается, он остаётся на тех, за кого платили.

— Остался, — сказал Глухов. — На всех. Бабка ошиблась в счёте. Межа взяла её всю и ничего не закрыла. Задаром взяла. — Он хрипло засмеялся. — Весной половина села уехала. Кто остался, платил дальше. До войны. А на войне многим уже стало всё равно.

Я смотрела на серую строку. «Межа за Глухову П. И.»

— Задаром, — повторила я. — Межа взяла у человека больше, чем ей было должно. Получила целую жизнь и ничего за неё не списала.

— Ага.

— И теперь Межа должна.

— Ага, — сказал Глухов. — Межа пишет серым, когда сама должна. Серым и не своей рукой. И имя заливает, чтобы не платить. Как Таисия заливала строку за Сеньку. — Он посмотрел на Арсения. — Тоже, чтобы не искали.

— Тимофей Ильич, — сказала я. — Волков подписал у корня. Без книги, без хранителя. Строка сама появилась, серая. Как это вообще возможно? Мы думали, сделка только через книгу.

— Книга сделку не делает, — сказал Глухов. — Книга записывает. Сделку всегда Межа делает. У корня. Когда старая книга в двадцать седьмом сгорела, с церковью, люди опять к сосне пошли. Как при дедах, до всяких книг. Ночью, вслепую. Межа сама меру ставила, сама брала, когда хотела и сколько хотела. Бабка новую книгу завела, чтобы снова был хранитель. Чтоб он меру ставил, видел, считал, сверял. Чтоб не вслепую. — Он пожевал губами. — А кто мимо книги к корню идёт, тот к Меже голый идёт. Без меры, без счёта, без хранителя. Книга такую строку всё равно покажет, серым, чтобы хранитель знал. Но держать её хранитель не может. Это не его строка. Это Межина.

Арсений не шевельнулся. Про залитую строку он знал по записям. Про то, что его искали бы, если бы она не залила, он знал тоже. Но это было записано, а не прожито, и я видела, что слова Глухова прошли мимо него, как проходят мимо цифры чужого отчёта.

— Сколько ещё таких строк? — спросила я.

— Три, — сказал Глухов. — Бабкина. Одна в шестьдесят восьмом, про неё не скажу, я тогда не был хранителем, мать была. И Таисина. Прошлой зимой. — Он повернул ко мне голову. — Ты знаешь, чья Таисина.

— Знаю.

— Знаешь, — сказал старик. — Не всё знаешь. Но знаешь.

Он закрыл глаза. На этот раз по-настоящему. Дыхание стало ровнее, рот приоткрылся.

Я взяла книгу с его колен, аккуратно, чтобы не разбудить. Арсений поправил подушку у него под головой. Мы вышли на кухню, где тётя Шура варила суп и смотрела по маленькому телевизору сериал про следователя.

— Спит? — спросила она.

— Спит.

— Ну и слава богу.

На крыльце Арсений остановил меня.

— Ника. Если у корня Межа пишет сама, серым, значит, Волков…

— Я знаю.

— А если Волков уйдёт в туман целиком…

— Я знаю, — сказала я. — Я спрашивала Глухова, чтобы знать точно. Теперь знаю. Если Олег уйдёт, его долг за семью не закроется. Перейдёт на Ирину и на Тиму. Межа возьмёт Олега целиком и не спишет ничего. Будет ещё одна серая строка.

Арсений смотрел на меня. Новый Арсений не умел смотреть молча так, как умел прежний. Он всегда что-то спрашивал.

— Ты ему сказала?

— Нет.

— Почему?

— Потому что в четверг я не знала точно. А он стоял у калитки, счастливый, и говорил, что у него есть план. — Я прислонилась к перилам. — Если бы я сказала ему, что плана нет, он бы пошёл искать другой. Я не знаю, какой. Я боялась.

— А сейчас?

— Сейчас скажу.

Я перешла через два двора на Нижнюю. У Волковского дома не было машины. Ирина в огороде полола грядки, оставшиеся от Веры, в резиновых перчатках и Олеговой бейсболке.

— Олег в Череповце, — сказала она через забор. — До вторника. У него встречи с юристом и в банке, там подписывать какие-то бумаги. — Она улыбнулась, сняла перчатку, вытерла лоб. — Ника, вы не представляете. Год ада. Год. А тут за неделю… Я ему говорю: тебе ангел на плечо сел. Он смеётся.

— Хорошо, — сказала я. — Передайте, что я зайду во вторник.

— Передам. А что-то случилось?

— Нет. По соседству.

Я пошла домой. Вторник. Два с половиной дня. Ничего не случится за два с половиной дня: туман приходит раз в несколько ночей, а Олег в Череповце, далеко от Межи.

Я поставила чайник. И увидела на кухонном столе свой телефон, который забыла утром, когда уходила к Глухову. На экране было три пропущенных вызова и одно сообщение.

От мамы. Мама писала мне раз в месяц, коротко, без смайликов. Это сообщение было коротким тоже.

«Я в Кадуе. Автобус до вашей развилки в два. Встреть».

Глава 7. Отдала: Олину свадьбу

Мама вышла из автобуса с чемоданом на колёсиках, в бежевом плаще и белых кроссовках, и первое, что она сказала, было:

— Тут что, нет асфальта?

— Три километра нет.

— Ты мне не говорила.

— Ты не спрашивала.

Она посмотрела на меня. Мы не виделись с марта, когда я приезжала в Петербург забрать зимние вещи. За полгода она постриглась короче и стала ещё больше похожа на бабушку на старых фотографиях, и я знала, что ей лучше этого не говорить.

— Ты похудела, — сказала она.

— Ты тоже.

— Я на интервальном голодании. А ты на чём?

— На картошке.

Мама фыркнула. Потом шагнула ко мне и обняла, быстро, сильно, одной рукой, вторую не снимая с ручки чемодана. От неё пахло табаком и сладкими духами. Новыми. Не «Красной Москвой».

Пашкевич довёз нас до калитки. Всю дорогу мама сидела на заднем сиденье и молчала, глядя в окно на лес, на кривую берёзу, на лужи в колеях. Пашкевич тоже молчал. У калитки он вышел, достал её чемодан из багажника и поставил на землю, и мама сказала:

— Спасибо.

— Ольга Михайловна, — сказал Пашкевич. — Я Эдик. Вы меня маленьким знали.

Мама посмотрела на него.

— Не помню, — сказала она.

— Я тоже, — сказал Пашкевич, сел в машину и уехал.

Мама стояла у калитки и смотрела на дом. Синий, с косым крыльцом, который я весной покрасила заново, потому что старая краска облезала пластами. На столбике сидел Рубль.

— Это чей?

— Мой.

— Ты же кошек не любишь.

— Он не спрашивал.

Она перешагнула через порог, поставила чемодан в сенях и остановилась у косяка. Того самого. С карандашными отметками: «Ника, 1999», «Ника, 2000», «2001», «2002», «2003». И над последней чертой пустое место до самой притолоки.

Мама смотрела на косяк. Протянула руку и коснулась отметки «2003». Провела пальцем вверх, по пустому месту, и убрала руку.

— Я же тебя увезла в августе, — сказала она, не оборачиваясь. — Я её не спросила. Приехала и увезла. Она даже не вышла провожать.

— Знаю.

— Откуда?

— Мне рассказали.

Мама обернулась. Лицо у неё было злое, сухое, и я поняла, что злость эта не на меня.

— Кто?

— Мам. Давай чаю.

Мы пили чай на кухне. Мама курила в форточку, хотя говорила по телефону, что бросила. Я не стала ничего говорить. Она осмотрела кухню, всю, медленно, как смотрят квартиру перед покупкой: печь, буфет, счёты на гвозде, мои папки с работой на подоконнике.

— Ты здесь правда живёшь, — сказала она. Не вопрос.

— Да.

— Год.

— Почти.

— Я думала, ты дуришь. Думала, тебе на работе плохо стало, ты сбежала, посидишь и вернёшься. — Она стряхнула пепел в блюдце. — Игорь твой мне звонил. Семёнович. Весной. Спрашивал, в порядке ли ты. Я сказала, не знаю, мне дочь не докладывает.

— Я тебе докладывала. Раз в неделю.

— «Всё нормально, мам». Это доклад?

Я промолчала.

Потом мама увидела тетрадь. Тетрадь с котятами, которая лежала на буфете, под счётами, потому что я так и не решила, куда её убрать. Мама взяла её, открыла посередине, и я поняла, что сейчас будет, и не успела ничего сделать.

Мама читала. Губы у неё шевелились.

«3 сент. Отдала: как звали Мурку (первую). Осталось: 417».

«5 сент. Отдала: дорогу к Глуховым через болото. Осталось: 416».

«8 сент. Отдала: Олину свадьбу. Осталось: 414».

Она остановилась на этой строке. Перечитала. Подняла на меня глаза.

— Это что?

— Мам…

— Что это, Ника? — Голос у неё стал высокий, тонкий. — «Отдала: Олину свадьбу». Это мою свадьбу? Она что, записывала, что забыла? Как старческий маразм? Ты почему мне не показала?

— Это не маразм.

— А что? — Мама бросила тетрадь на стол, и котята на обложке посмотрели в потолок. — Я двадцать три года ей звонила раз в месяц! Она со мной разговаривала как с соседкой! «Оля, как погода. Оля, как Ника». Я думала, она меня просто не любит! А она… Она… Записывала!

— Она платила, — сказала я.

— Кому?!

Я не ответила. Мама смотрела на меня, и я видела, как она ждёт, что я скажу, и как боится того, что я скажу.

В дверь постучали. Два раза, коротко: так стучал Арсений.

Он вошёл с ящиком для инструментов и платой для Волковского котла, которую привезли из Вологды на день раньше, и сказал с порога:

— Ника, слушай, плата пришла, я к Волковым, хочешь со мной? — И увидел маму. Остановился. — Здравствуйте.

Мама смотрела на него. На кофту, на очки на шнурке, на рукав, закатанный до локтя, и на запястье, исписанное до самого сгиба.

— Это кто? — спросила она меня. Таким тоном, каким спрашивают про таракана на кухне.

— Арсений Павлович, — сказала я. — Хранитель.

— Чего?

— Книги, — сказал Арсений вежливо и поставил ящик на пол. — Счётной. Я электрик. И котлы чиню. Вы Ольга Михайловна? У меня записано, что вы приедете в октябре.

— Я передумала, — сказала мама. — Вы что, здесь живёте?

— Нет, через два двора.

— А что вы тогда тут делаете в девять вечера?

— Прихожу, — сказал Арсений просто. — Я сюда каждый вечер прихожу.

Мама посмотрела на него, потом на меня. Потом снова на него. Затянулась сигаретой, выпустила дым в форточку.

— Понятно, — сказала она. — Жених.

Арсений открыл рот, закрыл. Посмотрел на меня. В глазах у него было такое растерянное веселье, что я засмеялась. Не смогла не засмеяться. Мама смотрела на нас обоих с подозрением.

— Мам, — сказала я. — Это сложно.

— У тебя всегда сложно. — Она затушила сигарету в блюдце. — Ладно. Я спать. Где спать?

Я постелила ей в бабушкиной комнате, на бабушкиной кровати. Мама легла, не раздеваясь, только скинула кроссовки, и отвернулась к стене. Я постояла в дверях.

— Мам. Если ночью будет туман…

— Что?

— Ничего. Окна не открывай.

— Я в деревне не первый раз, — сказала мама в стену. — Я здесь выросла, если ты забыла.

Я вышла с Арсением на крыльцо. Было уже темно. Над Нижней улицей стояла луна, и тумана не было: только низко, над Межей, лежала серая полоса.

— Будет? — спросила я.

— Будет, — сказал Арсений. — К полуночи. Ночуешь у меня?

— Нет. Мама.

— Она не должник. Её не тронут.

— Знаю. — Я посмотрела на окно бабушкиной комнаты, где не горел свет. — Всё равно.

Он кивнул. Потом наклонился и поцеловал меня в висок, быстро, как будто за ним кто-то подсматривал. И пошёл к калитке. У калитки обернулся:

— Ника. Она правда думает, что я жених?

— Иди к Волковым, жених.

Туман пришёл в половине двенадцатого. Я сидела на кухне, а мама спала. Я слышала через стенку, как она дышит: тяжело, с присвистом, как бабушка. Я так и не легла. Сидела у печи с Рублём на коленях и смотрела, как белое ложится на стекло.

В три часа скрипнула дверь бабушкиной комнаты. Мама вышла на кухню в носках, в своём плаще поверх ночной рубашки. Встала у окна.

— Ника, — сказала она тихо. — Там кто-то есть.

Я подошла. За стеклом, в белом, у бочки с дождевой водой, стояла девочка. Лет семи. В платье с крупными синими цветами, мокром, прилипшем к ногам. С мокрой чёлкой. Она стояла спиной к нам и смотрела в сторону Межи.

— Это туман, — сказала я. — Он показывает. Это не по-настоящему.

Мама не ответила. Девочка у бочки повернула голову, будто услышала кого-то, кого не было видно. И я тоже услышала: тихо, издалека, сквозь стекло, мальчишеский голос, звонкий, смешной.

«Ника! Иди сюда! Я покажу, как свистеть!»

Девочка побежала. Туда, на голос, в белое, и пропала.

Мама стояла у окна. Плащ на ней сполз с одного плеча. Она не поправляла.

— Платье из занавески, — сказала она. — Мама его шила. Из занавески в синие цветы, на своей машинке. Я стояла рядом и злилась, что мне она в детстве ничего не шила. А ты ревела, что хочешь покупное, и требовала карманы.

Она помолчала.

— Ника. А кто такой Сеня?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.